

А. А. УХТОМСКИЙ

Дальнее зрение

Алексей Ухтомский

**Дальнее зрение. Из
записных книжек (1896–1941)**

«ИП Князев»

УДК 94 (47 + 57) (093.3)
ББК 63.3 (2) + 72.3 (2)

Ухтомский А. А.

Дальнее зрение. Из записных книжек (1896–1941) /
А. А. Ухтомский — «ИП Князев»,

ISBN 978-5-9909419-5-3

Алексей Алексеевич Ухтомский (1875–1942), физиолог с мировым именем, обладал энциклопедическими знаниями в области философии, богословия, литературы и оставил свой след в «потаенном мышлении» России 1920-х-1930-х годов. Князь по происхождению, человек глубоко религиозный, он пользовался неслучайным авторитетом среди старообрядцев в Единоверческой церкви. Кардинальные нравственные идеи А. А. Ухтомского, не востребованные XX веком, не восприняты в должной мере и сегодня. Дневниковые записи А. А. Ухтомского, включенные в настоящий сборник, печатаются по изданиям: Ухтомский А. Интуиция совести: Письма. Записные книжки. Заметки на полях (СПб., 1996); Ухтомский А. Заслуженный собеседник: Этика. Религия. Наука (Рыбинск, 1997); При подготовке текста А. А. Ухтомского сохранены некоторые особенности его правописания и пунктуации.

УДК 94 (47 + 57) (093.3)
ББК 63.3 (2) + 72.3 (2)

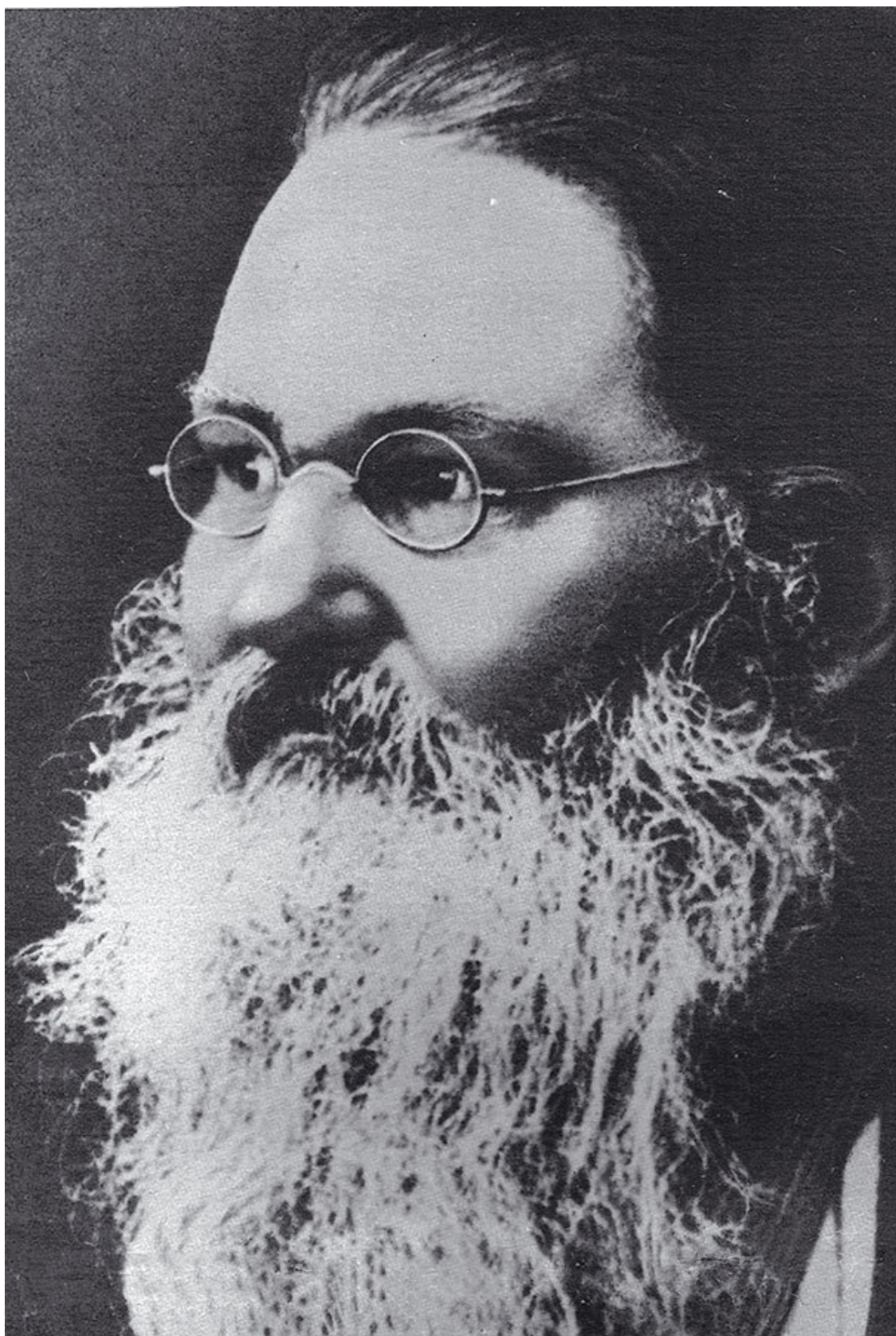
ISBN 978-5-9909419-5-3

© Ухтомский А. А.
© ИП Князев

Содержание

Предисловие	7
Дальнее зрение	11
1896	11
1897	20
1898	26
1899	29
Конец ознакомительного фрагмента.	40

**Алексей Ухтомский
Дальнее зрение. Из
записных книжек (1896–1941)**



© Кузьмичев И. С., составление, предисловие, 2017

© Издательство «Трактат», оформление, 2017

Предисловие

Алексей Алексеевич Ухтомский – явление в русской культуре XX века уникальное. Физиолог с мировым именем, он отличался разнообразием гуманитарных интересов, энциклопедической начитанностью в области философии и литературы, свободным видением многосложных нравственных, социальных, эстетических и религиозных проблем. Его эпистолярное и мемуарное наследие – подлинное откровение. Оно сохранилось, к великому сожалению, далеко не полностью и, кажется, по сей день еще не оценено в должной мере.

Ухтомский не был писателем, но с юных лет и до последних дней жизни испытывал «странную потребность» закреплять в слове напряженный процесс духовного самопознания. В литературном наследии Ухтомского нет художественных произведений, однако его письма можно рассматривать подчас и как страницы эпистолярного романа, и как фрагменты философских трактатов, и как лирическую исповедь, а его записные книжки, в свою очередь, свидетельствуют о ясности авторской мысли, таланта живописания, искренности чувств, психологической проницательности. И вдобавок ко всему Ухтомский был наделен даром – «дальнего зрения», ощущения грозной поступи истории.

Алексей Алексеевич Ухтомский родился 13 июня 1875 года в пошехонском захолустье – в сельце Вослома Ярославской губернии, детство провел в Рыбинске, хранившем корни допетровской, старообрядческой культуры, происхождения был княжеского, от Рюриковичей. Учился Ухтомский в городской классической гимназии, а тринадцати лет был отправлен в Нижний Новгород, в Кадетский корпус, который когда-то окончил его отец. Уже там он привык систематически штудировать труды по философии и увлекся математикой. В девятнадцать лет был выпущен из корпуса с отличием, но офицером не стал, навсегда, впрочем, сохранив военную выправку.

Годы обучения в Кадетском корпусе совпали для Ухтомского с тем странным возрастом кончающегося отрочества и начинающегося мужества, когда человек сталкивается с определяющим жизненным выбором, когда «волнение знания, любопытства, теоретизма» (В. Розанов) заставляло великие умы отворачиваться от шумных утех и прятаться в «монастырь философии», когда человек, доведя до предела темперамент в себе, испытывал «сладость отречения»: в молитве отрока-послушника либо во всяком воздержании ради устремления к добру, к идеалу христианского совершенства. Здесь – исток аскетизма Ухтомского, который он сам истолковывал как самоотрицание во имя идей, отказ от «приятного» из высших нравственных соображений. Не аскетизма по принуждению или подражанию, а того естественного аскетизма, когда, по словам В. Розанова, человек, и совлекши с себя плоть, любит мир именно во плоти, во всех его видах и формах, «излучаясь величайшей нежностью» ко всей природе.

По окончании Кадетского корпуса Ухтомский поступил на словесное отделение Московской духовной академии, где его еще больше заинтересовала неотделимая от религиозного сознания русская идеалистическая философия, признанным выразителем которой в России был тогда Владимир Соловьев.

Обращение к науке, к философии и вместе с тем – к Богу показательно для Ухтомского. Порог Духовной академии он переступил «уже вкусивший прелести мысли», полагая: «Раз начав думать, человек уже не должен „обращаться вспять“; он должен искать спасения в мысли же». Об этом, обозначая свои жизненные цели, писал и в дневнике в 1897 году: «... мое истинное место – монастырь. Но я не могу себе представить, что придется жить без математики, без науки. Итак, мне надо создать собственную келью – с математикой, с свободой духа и миром. Я думаю, что тут-то и есть истинное место для меня».

Его влекла «анатомия человеческого духа до религии включительно», интриговали границы метафизики – те рубежи, «до которых мы можем научно думать». Избрав темой диссертации «космологическое доказательство бытия Божия», он посчитал верным придерживаться того же «способа и направления мысли, какой создал науку о природе». И при этом отстаивал принцип автономии науки, готовый оберегать ее «от нападений богословствующего разума».

Ухтомский не терял надежды «оправдать молитву из начал науки», найти правду и свет в «келье с математикой». Он чувствовал: грешно уходить от жизни в одинокое самоуслаждение духовными благами – и потому искал конкретного полезного дела и активного поприща. Ему по сердцу был деятельный аскетизм мирянина. Поведенческий статус «монаха в миру» лучше всего соответствовал его душевному составу.

После Духовной академии Ухтомский отправился поступать в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета. Однако лицам с духовным образованием сфера естественных наук официально была заказана, поэтому он в 1899 году попадает сперва на восточный факультет по еврейско-арабскому разряду – с тем, чтобы год спустя перевестись на естественное отделение. В двадцать пять лет он опять с охотой сел на студенческую скамью, учился усердно и усидчиво и через два года утвердился ассистентом на кафедре физиологии животных, у профессора Николая Евгеньевича Введенского.

Петербург угнетал Ухтомского, – и не только климатом, но нарочитой ориентацией на Западную Европу, духом скепсиса и аморальностью, прагматизмом и бессердечием «каннибальской общественности». Ухтомский прямо заявлял: «Иногда кажется, что продал я духовное старешенство за питерскую жизнь, как Исав за чечевичную похлебку...»

В 1896 году в статье «Психология русского раскола» В. В. Розанов писал: «Есть две России: одна – Россия видимостей, громада внешних форм с правильными очертаниями, ласкающими глаз, с событиями, определенно начавшимися, определительно оканчивающимися, – „империя“, историю которой „изображал“ Карамзин, „разрабатывал“ Соловьев, законы которой кодифицировал Сперанский. И есть другая – „Святая Русь“, „матушка Русь“, которой законов никто не знает, с неясными формами, неопределенными течениями, конец которых не предвидим, начало неизвестно: Россия сущностей, живой крови, непочатой веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другим, но силою собственного бытия, в него вложенного. На эту потаенную, прикрытую первую, Русь – взглянули Буслаев, Тихонравов и еще ряд людей, имена которых не имеют никакой „знаменитости“, но которые все обладали даром внутреннего глубокого знания». К последним, богато наделенный от природы даром внутреннего глубокого знания, принадлежал и старообрядец князь Ухтомский.

Пространство всемирной истории четко просматривалось. Ухтомский словно парил над временными и географическими барьерами, и российскую катастрофу воспринял как следствие законов, диктуемых грешному человечеству неподвластной ему Волей. Он судил современность высшим судом, неизбежным «перед концом истории», наблюдая воочию «намекательное стечение признаков», предвещающих гибель и христианской культуры, и европейской цивилизации.

Неудивительно, что Ухтомского дважды арестовывали: 17 ноября 1920 года в Рыбинске безо всяких на то причин и в мае 1923 года в связи с закрытием Никольской церкви в Петрограде.

Тем не менее, в 1922 году Ухтомский с кончиной Н. Е. Введенского принял кафедру физиологии под свое начало и после десятилетних проверок обнародовал наконец свой закон доминанты, что стало, безусловно, звездным часом в его научной биографии.

1920-е годы меняли декорации, государство судорожно перестраивалось под нажимом диктаторских лозунгов, – а жизнь Ухтомского текла своей колеей. Он верой и правдой служил университету, читал общие и специальные курсы на биофаке, завоевав репутацию всеми любимого профессора.

Один из его учеников вспоминал, как победительно выглядел Алексей Алексеевич, шагая по коридору Главного здания: высокий, широкоплечий, импозантный, с окладистой седой бородой и откинутыми назад черными волосами, одетый в длинную суконную рубаху, подпоясанную кожаным тонким ремнем; шел по просторному университетскому коридору четким шагом, громко стуча каблуками сапог, – с поднятой головой, держа в одной руке картуз, в другой ненагруженный портфель: шел, как на праздник, с улыбкой отвечая на приветствия, – читать лекцию...

И это в условиях, когда к концу 1920-х годов Университет и Академия наук утратили даже относительную независимость и оказались под жесточайшим гнетом партийных властей, когда развернулась «классовая борьба на теоретическом фронте» – с идеалистической философией и «мистицизмом», когда после повальных чисток место ошельмованных, арестованных и сосланных ученых занимала «красная профессура», и биофак университета не был тут исключением.

Удары, нанесенные науке в 1930-е годы, превзошли самые мрачные прогнозы. И все же середина 1930-х оказалась для Ухтомского чрезвычайно плодотворной. В 1934 году он возглавил образованный по его инициативе научно-исследовательский Физиологический институт при университете и, определяя стратегию работ, наметил направление «более широкого и общего значения, чем обычный путь классической физиологии», поставив целью изучать проблемы человеческого сознания комплексно, заложив первым в стране основы физиологической кибернетики.

А в 1935 году Ухтомский принял участие в XV Международном физиологическом конгрессе, который проводился в Ленинграде и в Москве. Накануне конгресса издали на английском языке сборник его статей; доклады его учеников тщательно готовились в институте; когда в Ленинград съехались крупнейшие ученые мира, Ухтомский с ними встречался и беседовал; на заключительном заседании в Москве он прочел по-французски блестящий доклад «Физиологическая лабильность и акт торможения».

Весна 1937 года была беспрецедентной по накалу политических провокаций. «Под влиянием „активов“, проходивших у нас в апреле, – жаловался Ухтомский в письме Фаине Гинзбург, – я так устал нравственно и нервно, что уже от небольшого добавочного дела сбиваюсь в состояние острого утомления... мне пришлось просидеть в непрестанном напряжении три дня „актива“ в нашей лаборатории и два дня „актива“ же в Институте Орбели. Это очень тяжело и расточительно для нервной системы старого человека. Между тем предстоят и еще „активы“! Пока мы их проводим, за граница ведет подлинные научные работы, так неузнаваемо перестраивающие нашу науку!...»

В канун 1940-х годов, когда над Европой снова сгущались военные тучи и окончательно обрел силу разноликий фашизм, когда человечеству опять предстояло пройти «через кровь и дым событий», Ухтомскому не давала покоя идея «исторической совести».

«Культура зоологического человека» ничего не обещала, кроме новой полосы одичания. Предстоял очередной фатальный круг катастрофических испытаний, и роптать было бесполезно, потому что усомнился человек в своем высшем предназначении, «оглушился страстями», принял природу за «мертвую и вполне податливую среду, в которой можно распорядиться и блудить» сколько угодно.

Ухтомский знал, что природа, мир Божий, не потерпят надругательства над собой, ответят на преступления, творимые «просвещенными цивилизаторами», и Россия существенно непредсказуемо отреагирует на социалистические умствования – рано или поздно.

В мае 1941 года Ухтомский записал в дневнике: «Выдумали, что история есть пассивный и совершенно податливый объект для безответственных перестраиваний на наш вкус. А оказалось, что она – огненная реальность, продолжающая жить совершенно самобытной законностью и требующая нас к себе на суд!»

«Огненная реальность» запылала по России, и Ленинград быстро оказался в кольце блокады.

К той поре у Алексея Алексеевича, по его признанию, уже «начало заметно сдавать сердце, наследственный недуг Ухтомских» и до срока обнаружилось «собрание старческих болезней». В письме к В. А. Платоновой 22 июня 1942 года он писал: «Возраст мой для нашей семьи большой и немощи мои в порядке вещей. Жаль, что они совпали со столь трудными, жестокими для отечества и народа днями!.. Всего, всего, всего Вам доброго, прежде всего – дальнего зрения, которое не давало бы ближайшим и близоруким впечатлениям застилать глаза...»

Скончался Ухтомский 31 августа 1942 года и был погребен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Дальним зрением он дорожил больше всего – и в Первую мировую войну, в пору общего расслабления и духовной смуты, и в «отступнические годы» бесчеловечной революции, и позже, размышляя о «мировых траекториях», уносящихся в «темную мглу предстоящей истории». Дабы видеть будущее, он оглядывался далеко назад, в глубь веков...

И. Кузьмичев

Дальнее зрение из записных книжек (1896–1941)

1896

22 сентября

Возвращаясь воспоминаниями к прошлому, мы обыкновенно с любовью перебираем пережитое нами. «Все то нам мило, что прошло». Но иногда, напротив, является мысль: как все это незначительно и бесцельно, – даже самое крупное из пережитого нами. Мы сами виноваты, если приходим к такому печальному выводу. Самое великое и задушевное, если мы не сумели воспользоваться им для своего нравственного и вообще духовного роста, теряет для нас цену, но вместе с тем мы теряем и это «великое и задушевное».

25 сентября

Мы все стремимся к счастью и хотим быть счастливы; но указать – в чем условие нашего счастья – мы не можем; опыт доказывает нам это. Тем не менее эта неопределимость нашего внутреннего состояния счастья – внешними фактами – не дает основания отвергать самое стремление к счастью, как то делают теологи. Кто может быть счастлив достижением частичных благ – да стремится к их достижению; кто потеряет способность к такому счастью – да ищет высшего, не мешая другим продолжать свою погоню за мелкими благами.

26 сентября

На индивидуальную человеческую жизнь применим взгляд как на временное соединение воедино бесконечно разнообразной сущности природы; это случайно явившееся единство крутится в общем вихре природы, во имя инерции пытается сопротивляться внешнему разнообразию сил, горит собственною своею минутною жизнью, и, именно в силу своей самозамкнутости, наконец, сгорает и самопожирается. Индивидуальная жизнь есть пожар кусочка кальция в океане мировой жизни, есть какое-то туманное пятно в необъятном небесном пространстве.

Чувствуешь, разговаривая с человеком, что стоишь около горячей, волнующейся, содрогающейся от собственного жара печи, которая наконец не перенесет собственного напряжения и исчезнет в общем мировом безразличии.

29 сентября

Вместе с жизнью человек создает себе так называемое «мировоззрение», т. е. «теорию мира». Но он должен быть всегда готовым, на какой бы ступени развития ни стоял, – отнестись к своему ближнему, отбросив всякую теорию. «Человек прежде всего практик», –

говорит Гёфдинг, и потому его теоретические воззрения должны всегда дать дорогу нравственным.

У человека бывают порывы, убедительные для него и определяющие свою правдою, так сказать – логикою правды. Должен ли он им доверять? Не доверяя им – он живет менее чем половиною жизни. Доверять же не может, зная, что его эгоистическая личность и эти порывы правды уживаются лишь в исключительные моменты жизни; доверяя своим лучшим порывам, человек незаметно дает почву и своей эгоистической природе.

Несомненно, бессмертие души и т. п. истины интересуют нас не сами по себе, но по тем *практическим тенденциям*, с которыми они иногда связываются. Там, где нет ясной наглядной уверенности, – нас интригуют наши личные тенденции, заинтересованные двумя вероятностями...

Тема: «Благо познания» или: «Ценность познания». Когда ослабевает наша мыслительная способность, мы начинаем понимать, какого великого блага мы лишаемся. Как хорошо, что мы знаем нечто! (Вся наша жизнь постольку ценна, поскольку мы знаем действительность.)

Тупой эгоизм «верующего», забывающего все ввиду своего спасения, – гораздо противнее жизненного и часто плодотворного эгоизма непосредственного человека.

3 октября

Соприкосновение с жизнью доказывает нам, насколько она нам неизвестна и непонятна.

Понятным остается абстрактный, по-видимому общий всем людям, мир законов сознания, так сказать, – мир интенсивной жизни индивидуума. И во имя сострадания мы не имеем права посягать на этот интенсивный мир; между тем всякий шаг в экстенсивный мир, – неизвестный, следовательно, сопряженный с риском, – тем самым является посягательством на интенсивный мир нашего ближнего.

Разумные люди, которых так мало и которые нас так увлекают, – большею частью люди, более или менее отрешившиеся от экстенсивной жизни. Отречение от экстенсивной жизни лежит в знаменитом изречении: *omnia mea mecum porto*.

Глупо называть человека, руководящегося этим принципом, «эгоистом». Это тот, который избавил мир от своей личности, – и он «эгоист»!

Что такое «альтруист»? В теории – «человек, отрешившийся от экстенсивной жизни». В практике – большею частью «человек, уверенный, что он понимает экстенсивную жизнь и поэтому, из *принципа*, посягающий на интенсивную жизнь своего ближнего».

«Ты сделал это? А ведь можно было бы сделать лучше! А ведь этого было бы лучше совсем не делать!» Вот суд разума над действиями воли. Однако надо заметить, что если бы разум разговаривал *до* действий воли, то не было бы и жизни; поэтому, с одной стороны, жизнь предполагает санкцию разума после санкции воли, с другой – вряд ли достижимо для смертного «самодовольство», которое справедливо считается высшим и единственным его счастьем.

Покамест сама жизнь не будет иметь самостоятельного интереса в глазах ваших, – интереса, большего сравнительно с интересом самолюбия, рисовки и т. п., до тех пор вы не будете иметь самостоятельной мысли о ней.

Забвение – есть успокоение; это так, но ведь это успокоение искусственное; раз явившееся впечатление, раз замутившаяся поверхность сознания уже никогда вполне не успокаивается и не исчезает. Человек хочет забыть то, что он сделал; но это ему никогда вполне не удается. Всякое человеческое действие потому и важно, потому и заслуживает строжайшего обдумывания, что раз проявившись, никогда не исчезнет, никогда не обратится в «ничто». «Человек уже никогда не будет иметь возможность начать свою жизнь сначала. Он не может уничтожить ничего из того, что он думал, говорил и делал» (Вернер). Наслаждение не воспроизводится памятью; страдание раскаяния – есть преимущественное действие неумолимой памяти.

В глазах разума бессознательные стремления воли представляют не только нечто неразумное, но и уродливое. Потому-то Кант считал уместным скрыть свои увлечения, что ему так хорошо удавалось. Потому-то умный Вельчанинов у Достоевского после приятного и любезного вечера на даче – считал себя «униженным, как никогда, что связался...» Наконец, потому-то так стыдится своего увлечения и так неловко ему вспоминать о нем, когда лет через десять он встретит человека, который был ему привлекателен. К увлечению и страсти можно относиться снисходительно и с состраданием; но разум не может их оправдать!

Законно ли смешение метафизических понятий с этическими? Мы знаем о них из двух различных источников. Связь их непосредственно не дается; связь устанавливается поэтами и философами. Наука до сих пор считает наиболее удобным рассматривать то и другое как два самостоятельных мира.

5 октября

Будни – это русская жизнь. Тишина, бесцветность, умеренность во всем, кроме неподвижности и лени, – вот черта этой жизни. Все новое – нарушает и пугает будничное спокойствие русского человека. «Праздники» русского человека созданы для «празднолюбцев».

6 октября

Уже в 76 году Менделееву можно было сказать, что «время татарских набегов на науку миновало». Так счастлива наука в университете. Не то – в академии. Татары еще сильны здесь.

6 октября

«Будь тверд в твоём убеждении, и одно да будет твоё слово», – говорил древний мудрец. Легко с этим принципом согласиться, но не легко следовать ему. Мне раньше в момент дела казалось, я был убежден, что делаю хорошо. Теперь же мне кажется, не сделал ли я глупо. Но надо иногда отбросить эгоистическое сомнение в своих поступках и спрашивать только, не оскорбил ли ты своего ближнего своими поступками.

Как бы вы ни силились вашими отвлеченными понятиями отразить ваши чувства, все это будет или недостаточно, или, если достаточно и талантливо, – оно не для всякого понятно. Но замечательно, что женщина поймет вас сразу, если только вы говорите правду. Тут видно, как вы с вашими понятиями удаляетесь, так сказать, выходите из общего мирового бытия, и как ваши понятия, *если они соответствуют действительности*, удобно и

просто поглощаются и усваиваются женщинами, этими носительницами истины мирового бытия. У женщин много менее индивидуализации, чем у мужчин, – в этом легко согласиться с Шопенгауэром, уже взглянув на наружность красивой женщины. Но слабость индивидуализации делает их – гораздо более, чем мужчин, – способными носить в себе общую правду; их *субъективация* гораздо глубже, чем у мужчин. Поэтому разговор и общение с женщиной, не отличающейся особенными умственными дарованиями, может быть не менее поучителен и благотворен, чем разговор с талантливым мужчиной.

Человек, прощаясь с любимым им ближним, говорит, что он прощается с ним не навсегда: не может быть, чтобы он его более не увидел, – это неестественно после той связи, которая возникла между ними. Когда же человек настолько сохранит рассудка, что поймет невозможность такого вторичного свидания, то он все-таки переносит время свидания за гроб на небо. К этому старому методу прибегал Гёте, прощаясь с Лоттой. Очевидно, истина во всем этом – та, что нечто – однажды возникшее между людьми – не исчезает.

Во всяком случае, как пространственный мир реальности есть нечто неопределенное, куда порывается погружаться пытливый ум человека, так и мир психический, разлитый в этом мире пространства, остается для нас навсегда не миром устойчивой определенной жизни, но миром, постоянно требующим познания, следовательно, движения вперед, борьбы... В тумане этого мира где-то затерялись начала, где мы поклоняемся реализации наших идеалов; но эти воплощения наших идеалов уже потому не могут служить нам концом пути, что у нас не может быть с ними идеального общения, – что они «утрачены в тумане».

Заметьте, что «аскетизм» в пошлом смысле слова – связан с самым варварским взглядом на женщину.

Между тем «свои» и «близкие» человеку могут быть только люди. Кант был бы «чужим» Шопенгауэру, если бы они были современниками. Человек начинает следить «за полетом в голубом небе» своего ближнего, когда его уже нет в человеческих условиях, когда он не может войти с ним в обыденные (следовательно, «человеческие») условия. Что это? Следствие ли зараженности грехом – личности? Или, может быть, – прямой вывод из «логичности индивидуального существования»? Или это есть робкое стремление «бедного сына вечности к своему отечеству», о котором говорил Фихте?

Современное богословие <...> есть *психологическая схоластика*, тогда как древнее и старинное богословие (один из последних – Филарет) – *диалектическая схоластика*.

Вера процветает, когда является разочарование в знании. Нет нужды в вере, когда находишь содержание в знании; очевидно, знание привлекательнее веры. Понятно, что не во второй половине XIX века процветать вере, когда знание делает такие громадные завоевания. Проповедники оказывают тактические способности, основывая свои учения на пробелах завоеваний знания. Но тут являются два пути: одни, видя пробелы знания, все желания направляют на заполнение их новыми завоеваниями мысли; другие, напротив, всеми силами стараются не дать заполниться этим проблемам, и пользуются ими для своих целей. Предоставляется решить, кто из этих непримиримых борцов – есть борец за благо человечества. Во всяком случае, нам противно злорадство второго при виде человеческой немощи.

Отрицая ценность индивидуальной личности, Шопенгауэр освобождает себя и своих последователей от труда углубиться в нее и сойтись с нею. Но само по себе это отрицание, несмотря на увлекательное изящество и пикантность, которую ему придал гений Шопенгауэра,

эра, не всегда может удовлетворить нас. Иногда мы склонны, напротив, думать, что ничего нет ценнее личности. Этот человек, так страстно и безумно улыбающийся, по-видимому, – с самым глупым душевным содержанием, с известной высоты является наинтереснейшей и ценнейшей вещью для нас.

К знакомству с человеком надо относиться тем строже, чем оно мимолетнее. Великое горе, если человек унесет в свою дальнейшую жизнь неправильное впечатление о вас. Не вполне обдуманное слово – достаточно, чтобы впечатление было не правильно.

В духовной жизни много поразительно непонятого, переходы душевных состояний, неуловимые для рефлексирующего разума, но лишь понятные для поэтического духа, превосходят всякое воображение. Понятно, насколько завлекательно в научных целях принять все это бесконечное разнообразие феноменов – за прямую функцию материальной жизни.

Философу очень важно знать, что в мире реальности не все отрицательно, что в нем есть достойное сочувствия. Тот, кто откроет это философу, – есть один из важнейших агентов в его образовании, есть несомненный его учитель. В чем учитель? Хотя бы в том, что теперь серьезнее отнесся к жизни.

Автор, выступив перед людьми со своими творениями, – описывая то, что он пережил, и как это пережитое понимает, должен кровью запечатлеть каждое свое слово, ибо «от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Слово человека – есть нечто новое в мировых вещах, новая реальность; за нее отвечает ее творец. Какая ужасная ответственность! Однако, при всем том, эта ответственность страшна не для всякого. Дьявол, с холодной, идеальной ненавистью смотрящий на людей, не страшится ответа перед вечностью, перед презираемым им человеком; его чело ясно, «без страха и упрека». Страшен ответ для нас, сомневающихся и еще более несовершенных в зле, чем в добре.

11 ноября

Читал сегодня письма Жорж Занд в «Вестнике ин. лит.». Вот великая душа!

Этика ощущений, этика сострадания забывает реальность индивидуальной личности. Поэтому она отрицает, но не обосновывает экстенсивную жизнь человека, которая предполагает вне меня индивидуальности, – как предмет моих стремлений.

Тяжкий путь избирает тот, кто хочет думать, узнавать действительность. Усталый, удрученный – он не может утешиться в религии; совесть не позволит ему для эгоистического утешения принять мелочи религиозной жизни, когда он порвал с крупным ради великого. Не утешится он и в поэзии; там человеческий дух не дается ему сполна. Не ему думать о разврате!.. Так где же утешитель? Блажен тот, кто не потерял веру в утешителя.

Когда начнешь понимать действительность, начнешь замечать пропасть между идеальным и реальным, то всякий оптимизм становится подлым и мерзким в твоих глазах. В чистом и теплосострадательном пессимистическом чувстве – истинное спасение. Только бы пессимизм не выходил за границы, положенные ему истинным вдохновением и истинным реальным взглядом.

21 ноября

На известной ступени развития человек получает великое счастье, начиная понимать различие между миром его идей, миром идейного совершенства – и своею индивидуальностью с ее желаниями и максимумами. Если в человеческом лице нельзя открыть глубоких принципов, которые хранятся в душе индивидуума, – то, несомненно, по нему можно составить суждение о самой индивидуальности. В последнем уверен всякий.

Один раз я взглянул на себя в зеркало и тут почувствовал, какая разница между мною, моею индивидуальностью – и тем идеальным миром, который я в себе ношу. Практический вывод получился такой: странно и несообразно порядку вещей – представлять эту индивидуальность в мире идеальности: она там совсем не на месте. Кстати, я думаю, что мир идеальности упал бы сразу в моем уважении, если бы он был доступен мне реально. Следующий практический вывод: так как в твоих видах, в видах твоей пользы – сохранить в твоём уважении мир идеальности, – то не думай, что будет лучше, если ты путем иллюзий войдешь в мнимо-реальное общение с миром идеальности; иллюзии, – которые, конечно, возможны, – не подымут тебя до твоих идеалов, но лишь унижат твои идеалы до тебя. Всякое реальное общение твое с идеалами будет основано на иллюзии; поняв это, всякий, которому доступно эстетическое и вообще духовное чутье, перестанет профанировать лучшее достояние своего духа – свои идеалы – попыткой их «осуществления» (!) в иллюзии. Когда иллюзия рассеется, возможно, что упадут и идеалы.

Если верно, что о других мы судим по себе, и если верно, что другим мы приписываем свои свойства, – то для меня лично верно и то, что в высшей степени не желал бы встретиться с самим собою. Встретившись с человеком, который был бы я сам, я ужасно боялся бы этого человека; с другой стороны, мне очень скучно было бы слушать его речи – эти речи, то исполненные дидактики лисицы в сутане проповедника, то – выражающие неудовольствие Полония, что Гамлет так невежливо помешал ему подслушивать свои слова; и, при всем том, речи именно мои, следовательно – хорошо мне знакомые.

24 ноября

До сих пор наш новый европейский дух еще не в силах говорить о Боге с такою силою и достоинством, с которыми говорил о нем Древний Восток. Лишь редкие отдельные личности поднимают свой вдохновенный голос. Большинство же или индифферентно-клерикально, или мистично, или, наконец (и это лучшее), атеистично. Филарет Московский, Фейербах – это наше большинство; Кант, Гёте, Шопенгауэр – это наши абсолютные единицы.

24 ноября

Постоянное мировое влечение существования нарушается в человеке, когда он однажды представит себе – так или иначе – цель своего существования. Очень часто, – чтобы не сказать более, – представление конкретной цели существования есть иллюзия. Но раз искусившись сознанием конкретной цели, раз попробовав погрузиться в свою индивидуальность, человек уже не хочет отказываться от наслаждения – обладать «целью существования» и, когда оно рассеется, как иллюзия, он утешает себя сознанием других целей-иллюзий. Когда наконец рассеется цель, особенно сильная по своему обаянию, бедный человек утешает себя последней попыткой: он начинает думать, что есть, по крайней мере, идеаль-

ная цель его существования. Бедный человек! Оставьте ему право жить этой мечтой. Она не иллюзия, ибо идеализация ее при нужде растяжима до бесконечности.

Что чувствовал Колумб в виду отдаленных берегов Америки? Что ощущал Людовик XVI, ехавший в Париж при криках народа, в которых уже ясна была его судьба? Что чувствовал Дюмурье, только что вырвавшийся из-под гнета впечатлений парижских драм – и знавший, что его ожидает, если немцы победят? Что роилось в душе Наполеона при виде отступления смутной и расстроенной Великой Армии из-под Лейпцига? Что наполняло чувство Шеллинга, когда он, скорбный и бегущий от людей, скитался стариком? Как выросло вдохновение пессимизма великого Шопенгауэра? Скажите, умерли ли великие чувства и мысли, обитавшие на поверхности земного шара? И, если не умерли, то какова же та скрытая энергия, в которую они утонули?

Отвечай на все это тот, кто знает, что такое – чувство и мысль; и отвечай тогда, когда в тебе есть чувство и мысль.

С течением времени, с ростом человеческого знания – становится все более и более понятной внутренняя психологическая схема, лежащая в основе старинных теорий. Поэтому одна из насущнейших задач современного наукознания – психологический, реальный анализ исторических теорий.

Широкий психологический анализ исторических теорий всегда основывается на предварительном историко-критическом изучении этих теорий. Поэтому психологическому анализу таких теорий должен предшествовать историко-критический их анализ. Исключительный психологический анализ может быть очень остроумен и глубок, в то же время не вполне соответствуя исторической действительности своих объектов. Гениальный психологический анализ истории, сделанный Гегелем, во многих отношениях колеблется выводами новейшего историко-критического анализа. Итак – повторяю – психологическому анализу должен предшествовать историко-критический анализ исторических теорий.

Хотя и редко, но все же это бывает, что человек достигает понимания своего существования, по крайней мере, со стороны его ценности. <...> Действительность есть фатальное стремление вперед. Мир есть выражение этого стремления «волн бытия». Но бывает иногда, что человек перестает быть пассивным модусом вечности. И если в это время, окинув роковое море, где он затерялся, он не найдет под собою смысла, он может или, по крайней мере, хочет уничтожить себя.

Бывают моменты особого спокойствия по отношению к ближним. Мы видим их путь и не желаем в него вмешаться. Что это, отрицание ли личной воли? Если – да, то, во всяком случае, – уже очень окрепшее и немучительное, напротив, – в высшей степени спокойное. Здесь нет жертвы; может быть, есть способность к милости, – но опять-таки самая спокойная. Это не «альтруизм», не «христианизм» и никакой «изм». Это счастливейшее... Впрочем, нет... – это спокойнейшее состояние. Но заметьте, что человека достойно именно спокойное состояние (недаром он создал Олимп). Счастливое состояние ассоциируется с представлением теленка в состоянии восторга. Мудрецы – всегда спокойны; люди общества хотят быть счастливы. С другой стороны, заметьте, что это состояние далеко не эгоистическое (как может некоторым показаться). Поэтому-то искусственно, – путем эгоистического удаления от людей, – оно никогда не достигается. Оно создается «на людях».

Я никогда не стоял перед такой трудной задачей. Вопросы жизни, если они решаются не непосредственно – не чувством, требуют для своего разрешения великого жизненного опыта. Как я хотел бы быть теперь мудрецом, чтобы дать истинный ответ.

30 ноября

Предписывая любить Бога более людей, христианство унижает ценность индивидуальности. Это верно по крайней мере с практической точки зрения. Но решительно вся наша духовная сторона жизни основана на *практическом* признании ценности индивидуальности. Вот отвлеченная формула противоречия, которым мы мучаемся.

30 ноября

Вижу впереди себя много страдания и горя; не в отвлеченном смысле этих слов, но в конкретном и наглядном, и это особенно тяжело! Холодно, холодно на свете, когда нет, «где главы приклонить»!.. Чувствую, что спасение от страданий – в отрицании себя. Но что поделаешь, если чувство, мучающее нас, непосредственно и большею частью сильнее мысли о самоотрицании.

1 декабря

Страдание есть ненормальность. Это – истина непосредственного чувства. Поэтому органическая индивидуальность – эта носительница страдания – и есть единственная в природе вещь, дошедшая до мысли о своей ненормальности.

Какой ближайший вывод отсюда? По крайней мере, самый непосредственный – тот, что когда эта органическая индивидуальность распадется, «исчезнет как пена на поверхности воды», выражаясь поэтическим образом древнего пророка, – это будет великою выгодой для нее. Ведь пена есть какая-то шалость в сравнении с великою покоящейся массой вод. На нас производит лучшее впечатление грандиозное спокойствие вод, чем беспокойное шипение пены на гребне волн.

3 декабря

Шопенгауэр говорит, что два полюса у жизни – страдание и скука. В настоящее время я вижу скорее два следующие: надежда и сожаление. Сейчас у меня надежда. Но предчувствую, что, как и всегда, судьба готовит нечто совсем новое. Господи, как тяжело, когда надежда омрачается таким сомнением. Посмотрим, что будет далее! Поставлю здесь и число, когда пришло мне это в голову. Сколько-то времени пройдет до следующего сюрприза и отмирания?

19 декабря

Знал ли ты, несчастный Пилат, около кого стоял ты, когда умывал руки в его крови? Из любви ли к нему ты это делал? Или в твоей бедной душе говорило чувство справедливости? Знал ли ты, что пред тобою стоит тот, кто носит в себе все страдание мира, страдание, способное раздавить лучшую человеческую грудь и голову? Знал ли, что мы будем знать твои слова? Бедный, бедный, бедный Пилат!

Обращение с человеком, который от нас зависит, – как с червем, и взгляд на человека, который не имеет в нас ничего – как на Бога, – это постоянное и тягостно-подлое наше обыкновение.

1897

Мефистофель – это мысль. Это «дух, который всегда отрицает». Это Гамлет, Павел Фивейский! Но он достаточно умен, чтобы видеть, что рядом с его отрицательным духом – течет нечто могущественное, столь могущественное, что при всем своем убеждении, что «все, что существует, достойно исчезновения» и что «было бы лучше, если бы ничего не было», – при всем своем убеждении и дьявольской самоуверенности – он едва не сходит с ума при виде упорства бытия мирового порядка. Он сознается, что его поддерживает лишь великая, вдохновенная страсть. <...> И Мефистофель ничего не может возразить Фаусту, когда тот укоряет его, что он «вечно живой, священной творческой силе лишь грозит холодным кулаком, сжимающимся в тщетной ярости». <...>

Вот опять вариации той же истины, – великой дилеммы мира, – смерти и жизни, плоти и духа, Аримана и Ормазда, «мира сего» и «облечения во Христа», падения и восстания, положения и отрицания, воли и мысли.

Войди в течение «вечно живой, священной творческой силы»! Это – нечто великое, вечное, закономерное, естественное, древнее и, при всем том, родное нам – нас породившее. Это могущественнейшая «сансара», затопляющая все на своем пути, не знающая преграды, не понимающая ограничений, – «сансара», пред которой отступает даже сама мысль, сам Мефистофель... Или же последуй за мыслью, за Мефистоделем; только никогда не обманывайся, что ты стал выше «сансары»... не сделайся из великого Мефистоделя – глупым мистиком!

Большинство людей живет в «сансаре», заглядывая для успокоения в чертовскую сферу мысли. Не отдавшись мысли и не погрузившись совсем в «сансару», они мнут всю жизнь, не находя согласия. Это святоши, ханжи, мистики, декаденты, нигилисты и т. д. и т. д. Мало кто решится, раз начав, – «до конца претерпеть» путь мысли.

Раз начав думать, человек уже не должен «обращаться вспять»; он должен искать спасения в мысли же.

Философия, философский ум – это тощая корова египетского фараона. Она съедает все, что дают ей науки, весь этот «тучный», многими веками собранный материал, – съедает его и все же остается тощею.

Философия есть наука гениев. Лишь в их руках она всегда бессмертна. Великие философские системы не умрут для мыслящего человечества.

Когда философская школа «вымирает», – это значит лишь, что кафедра попала в руки посредственностей.

Поэтому истинный ученый, действительно живущий интересами знания, никогда не отвернется презрительно от философии. Напротив, его надежды направлены на нее.

4 января

Животная жизнь в нас отделилась от жизни природы. В нас два стремления. Разум и утроба живут двумя отдельными потоками.

Вообще всякое общение есть или коммунальный, или личный деспотизм. Свобода личности там есть воздушный идеал. Лишь освобождение от общества, выделение из него своей индивидуальности – может дать начало культивирования личности и мысли.

Мефистофель, в сущности, советует Фаусту изменить до некоторой степени своему делу, рекомендует «бросить игру со скорбью, пожирающею его в жизни, как коршун». Он толкает его в мир, в общество. Но он будет сам его сопровождать в этой экскурсии, будет ему «служить». Поэтому тут нет полной измены; Фауста будет связывать с его «одиночеством» сам Мефистофель. Итак, дальнейшая жизнь Фауста есть именно жизнь в сансаре, но с оглядкой в мир мысли. «Фауст» есть трагедия жизни, хромающей на обе стороны.

Всюду борьба общества и индивидуальности, всюду стремление к обезличению. Эта тенденция царит и в храме, и в аудитории, и в рядах войск, и в «светском обществе», и в монастыре, и в «миру».

11 марта. Сергиев Посад

Два источника зла: 1) внутри человека и 2) вне его. Главный источник несомненно – *внутренний*. Внешнее учреждение создается с целью *борьбы с внутренним злом и стеснения его*. Таковы церковь и правовые учреждения. Когда внешнее учреждение теряет из виду эту цель, оно становится *внешним источником зла*. Такова война, – возведение в практический принцип национального эгоизма.

Заезжал ко мне и тете Василий Федорович Николаев. Простой, безлукавый взгляд на жизнь, сила духовной простоты, реальное отношение к вещам – вот то, чем жили наши деды, – вот что было истинно завидного в их жизни, – вот то, чего нам роковым образом недостает, о чем надо плакать, без чего остается от жизни менее трети действительного содержания и от чего, к нашему несчастью, до нас доносится слабое и все более слабеющее, замирающее в мировой пустоте – эхо. Отцы! Вы не родили бы нас, если бы знали, что мы не будем обладать тем счастьем, которым обладали вы!.. Двенадцатый год! Сермяга ополченца! Кавказ! Севастополь! Простые и доблестные в своей простоте имена разных Ермоловых, Архиповых, Корниловых и пр., вы уходите все дальше и дальше от нас, оставляете нас одних! И как противно мы все ломаем и коверкаем то, где вы жили.

Горные вершины, я вас вижу вновь.
Балканские долины – гробницы удалцов...

Мы ценим и считаем великим Льва Николаевича Толстого за его голос, поднимающий с беспримерной силой духовные интересы общества, духовные запросы, к которым общество всегда так индифферентно. Похвалить Толстого – значит похвалить существование в обществе духовных интересов. Ругать его на площадях и перекрестках, как это делает легион с Херсонским Никанором и К^о во главе, – значит замарывать духовные интересы. Лев Николаевич есть великий деятель в деле культивирования духовной жизни общества. Понятно, к чему клонится «популярная полемика» с ним; понятно, что приносит эта полемика обществу... «Все-то вы недовольны; все только отрицаете...» и т. д., – вот чем попрекают Толстого и вот где видят «великий вред» его сочинений. Здесь, уже очевидно, дело идет между светом и самодовольною «властью тьмы».

Иногда мы переживаем минуты особенной ясности, когда истина нами ощущается или понимается в своей простоте и правдивости. Хорошо, если мы успеем воспользоваться этими минутами, чтобы записать понятную нам истину, и притом так, чтобы сохранился отпечаток той простоты и правдивости ее, как мы ее тогда поняли и ощутили. Талант, все

охватывающий и запечатлевающий в натуральном, нетронутом виде, – в этом случае незаменим. Когда же не удастся сохранить на бумаге или в душе отпечаток ощущений божественной истины, – отвлеченное выражение ее в понятии не заменит нам тех минут. Мы всегда ясно будем ощущать потребность осветить такое отвлеченное выражение повторением тех минут. Таким образом, «минуты» не теряют никак своего значения – и тогда, когда явится понимание истины «навсегда».

24 мая. Сергеев Посад

Вл. Соловьев говорит, что как из жалости развивается *альтруизм*, так из стыда – *аскетизм*. По-моему, следует расширить понятие *аскетизма* до *самоотрицания во имя идей*: иными словами, аскетизм – отказ от приятного во имя высших нравственных соображений, все равно, будет ли это касаться моего личного поведения (этика стыда) или общественного (этика сострадания). Итак, основой аскетизма, смотря по обстоятельствам, будет являться то стыд, то сострадание. Но надо заметить, что *этика сострадания есть лишь этика самоотрицания*, ибо «сострадательный» человек лишь «не будет делать зла», «не судит», «не похулит» и т. п. Лишь с внешнеформальной точки зрения – все это можно назвать положительно-нравственной деятельностью. Я назову это *вторичными нравственными фактами* (фактами этики *a posteriori*). Очевидно, *есть нравственные факты, не сводимые на чувство сострадания, ни стыда*, и тем не менее – факты, без сомнения, нравственного порядка. Таковы факты любви в собственном смысле, – факты не самоотрицания, но *самоутверждения*. Итак, рядом с этикой сострадания и стыда есть этика любви с своими особыми максимами и воззрениями, факты любви суть *первичные нравственные факты* (факты этики *a priori*). <...>

Всякая этическая система, знающая лишь сострадание, но не любовь – как самостоятельный факт, – является лишь половиною истины.

9 августа

Я не общественный деятель. Общественная жизнь не обладает для меня непосредственным интересом, не дает мне непосредственного интереса. Я в отношении общественной жизни – лишь созерцатель.

Поэтому мое истинное место – монастырь. Но я не могу себе представить, что придется жить без математики, без науки. Итак, мне надо создать собственную келью – с математикой, с свободой духа и миром. Я думаю, что тут-то и есть истинное место для меня.

В «Фаусте» роль Мефистофеля совершенно нетаинственная, нечудесная. Она вся есть поэтическая персонификация естественного направления в человеке. <...> В великих поэтических произведениях великие образы, создаваемые гением, имеют свое великое значение для нас именно потому, что за ними *мы видим действительную жизнь*. Функция Мефистофеля уже необходимо существовала в «Фаусте» и до появления на сцене самого Мефистофеля; для появления Мефистофеля нужно было твердое образование по закону необходимости на координатных осях действительности. Произведение поэтическое тем выше, чем *менее случайности в его образах и действиях*. Тем интереснее для нас действие, чем более участия возбуждает в нас его течение, т. е. чем *более мы понимаем его по закону необходимости*.

Очень трудная задача решить, какая общественная функция тебе естественно предназначена; это тот вопрос, который нас так тяготит при так называемом «выборе карьеры».

Естественная необходимость в физической стороне моей жизни и нравственный закон – нравственная необходимость – в моих отношениях с мне подобными являются для меня вместе чем-то единым. Однако не есть ли это лишь случайный результат влияний исторических воззрений и обстоятельств? Если удастся из естественной необходимости необходимо вывести нравственную – это будет важным элементом в так называемом «космологическом доказательстве Бытия Божия».

О себе могу сказать, что усиленно занят сочинением, наслаждаюсь работой, но и страшусь несколько огромного объема этой работы.

Космологическое доказательство как *доказательство Бытия Божия – тою же самую мыслью, которою занимается наука о природе*. Поэтому и критиковать это доказательство надо этой же мыслью. Против этого говорят, что теологические доказательства не суть доказательства в математическом смысле этого слова. Но тогда – они и не научные, и о них не стоит толковать. Мы отнеслись к ним именно как к доказательствам в полном и строгом смысле этого слова, и будем критиковать их, как такие.

Повторяю, по моему убеждению, космологическое доказательство есть попытка доказать Бытие Божие *тем же самым способом и направлением мысли, какой создал науку о природе*. И потому его следует критиковать с точки зрения этого способа и направления.

Автономия науки – вот принцип, который я должен освободить от нападений «богословствующего разума».

Когда богословы стали брать выразителем своих идей и учителем своим Достоевского, то это – уже очевидное знамение времени. Религию хотят сделать психологическою необходимостью...

Выше себя по достоинству человек ничего не знает вокруг себя. Но признает ли он себя богом великой водной массы океана, плавая по ее поверхности? Или, стоя перед необъятной глубиной звездного неба, почувствует ли он себя богом ее? Конечно, нельзя ответить в этом отношении за людей; несомненно – были люди, считавшие себя богами моря, отдаленного от них многими милями и многими стенами, богами неба, закрытого от них потолком, и богами вселенной, ограничивающейся для них – раболепствующим человечеством. Несомненно лишь одно, – что постоянное общение с действительностью и бескорыстная любовь к ней, веками культивируемая привычка жить идеалами правды – эти два постоянные и традиционные признака научного духа развили по крайней мере в ученых постоянство вкуса к истине, чтобы, воздав по достоинству человеческому гению и добродетели, признать неизмеримо выше их начало, правящее вселенной.

Мое поступление на духовно-учебную службу было бы понятно мне тогда, если бы я имел что-либо внести туда новое и лучшее, если бы я заменил собою там человека, не способного сделать то, что могу и имею сделать я. Но ничего такого, чего лучше меня не могут сделать мои товарищи по высшей школе, – в учебной и воспитательной практике духовной школы не существует. Поэтому мое поступление туда будет по меньшей мере неосмысленным действием. Если кто-нибудь желает моего поступления на духовно-учебную службу во имя партийности, то я на это должен сказать, что считаю вообще бессмысленным и недостойным всякое лицедейство перед людьми, у меня есть причины не идти в монахи, и очень

веские, о которых здесь, впрочем, не место распространяться. Я не считаю себя в силах – идти в священники; да к этому я никогда не чувствовал никакой склонности.

Эти сволочи, вроде иеромонаха Андрея, хотели, чтобы я *бросил, прямо бросил* тетю Анну Николаевну, забыв все, что она есть для меня. Так, Андрей не стеснялся прямо высказать тете в лето моей подготовки в Академию (1894 г.), что «не больно-то он (т. е. я) будет ходить к тебе», чем заставил расплакаться бедную старуху; потом в Академии – он предупредил Антония, чтобы тот остановил меня и не давал бы ходить к тете в номер. А этот «гимназист» и не постеснялся брякнуть мне, чтобы я к тете не ходил. Затем Андрей преследовал меня за то, что я «предпочитаю какую-то Москву нашей (т. е. их со всей Антониевской ложей) прекрасной жизни». Один только Андроник за все время – признал, что «обязан тете, что она – мать моя», и за это я его полюбил и люблю больше всех из них. В общем же я тут с первого шага почувствовал, что у этих господ *личность – ничто, партия – все*. И я тогда же поставил точку над всем этим, увидел, что «это зерно засохшее, и не может прорасти» (Шах Наме).

5 ноября

Ты забываешь, мой друг, что сейчас, сию минуту – ты переживаешь то самое, что будешь переживать и потом, и всегда. Вот день склонился к вечеру, день прошел, земля повернулась к великому светилу так, как это было в Варфоломеевскую ночь, в ночь резни Вифлеемских младенцев, в ту ночь, когда умер NN и родился PP, – во все ночи, сохранившиеся в памяти истории, начиная с той жаркой, томительной тропической ночи, когда три странника укрылись под кров Лота. Так же день склонится и тогда, когда ты, положим, будешь министром, или учителем, или священником, так же ты почувствуешь, что «скоро спать» или «скоро ужинать». Точно такой же день: утро, полдень и вечер будет и тогда, когда ты достигнешь всего тобою желаемого: когда обладание любимой девушкой отойдет от тебя из области желаемого и ожидаемого в «область прошедшего», «канет в вечность», как говорят поэты; девушка будет уже не твоей «хорошей знакомой», не твоею «возлюбленной», но будет твоею женою. Министерский портфель или ученая слава будет уже не тем, на что ты заглядываешься в «золотой дали будущего»; нет, это все будет уже тем, чего ты достиг... а день все будет таким же; всегда будут утро, полдень и вечер, всегда будет все то же... Ты будешь лежать, дряхлый, больной, – наконец, – реально одинокий (тогда как до сих пор был лишь идеально-одиноким) и будешь сознавать, что «все кончено, все прошло»; ты сознаешь, что «твое время прошло, надо дать место молодым силам»... И наконец когда-нибудь между двумя боями часов на колокольне, когда живущий на чердаке одного из домов главной улицы Тюбингена художник заторопится сойти из своего жилища, – может быть, – поужинать в одном знакомом семейном доме, – когда молодой поручик только что позвонил у подъезда той, которая будет его женой, – а главная улица Нью-Йорка начнет оживляться после ночного покоя, – ты испустишь последний вздох, и те, которые при этом будут, расскажут потом твоим знакомым и незнакомым, как в четверть одиннадцатого или полчасу второго – ты захрипел; как они подошли к тебе и поняли, «что кончается»... «Впрочем, этого надо было ожидать», – скажут они... Да, это будет, должно быть, вечером, или утром, или в полдень, или, может быть, после полуночи; во всяком случае, «пополудни» или «пополуночи»... И будет все то же, так же придет вечер, так же будут ложиться спать, так же в одно и то же время на двух концах города в полночи будут жениться и умирать, целовать и издавать последнее хрипенье... А луна так же взойдет на небосклоне и осветит в одно и то же мгновение – брачное ложе, книжный шкаф в кабинете великого ученого и застывший профиль твоего смрадного трупа, ожидающего погребения... Все то же, и все так же. Это исполняет меня

спокойствием и тишиною. Не странно ли стремиться к вечеру 13 ноября 1908 года или утру 22 мая 1967-го, когда они будут совершенно такими же, как утро и вечер 5 ноября 1897 года?

Впрочем, утром 22 мая 1967 года меня, без сомнения, уже не будет в живых. Так как за гробом, вероятно, мы удовлетворимся тем, к чему стремимся всю жизнь, то 22 мая 1967-го я буду знать нечто новое, постоянно новое и постоянно великое, «желаний край».

12 декабря

Наука имеет дело лишь с понятием «природа». Где нет его, нет и науки.

Впрочем, для науки остается весьма важная проблема – выяснить *возможность религиозного опыта* <...>, а потом и исследовать этот вид опыта. И то, и другое войдет в предстоящую, единственно научную обработку вопроса о религии – *в психологию религии*. Своим сочинением я хотел лишь выяснить, насколько было возможно, что это именно единственный путь для науки – в решении вопросов, поставленных в истории и в личном опыте каждого из нас.

1898

24 октября

Давно уже не чувствую себя в своей колее, давно не могу схватить своих мыслей. Только в тех редких случаях, когда что-нибудь возмутит меня, – является по-прежнему поток мыслей.

Теперь обстоятельства опять выкинули меня вне постоянного течения, я опять, как четыре года назад, должен устанавливать свой путь. И, как тогда, дело не обходится без столкновений с непрошеными учителями. Сегодня получил одно из характерных посланий в этом смысле, возмутился и вот имею возможность написать несколько строк. Послание от иеромонаха Андрея. Пишет, что был возмущен моими «сборами на военную службу», т. е. по ведомству военных учебных заведений. Вспоминаю при этом прошлогодние фразы: «ведь это все (кадеты и вообще военные) – враги Церкви». И теперь Андрей, убеждая меня служить «все-таки святой Церкви», – имеет в виду или службу наблюдателем осетинских церковно-приходских школ («если Бог не допускает до монашества») или «в дальних семинариях» (!). Весь секрет, очевидно, в кукольной комедии. Рекомендуются сделаться дураком, чтобы ознаменовать тем протест против заблуждений умных людей...

Прежде всего Андрей рекомендует *«поскорее развязаться со своею книжкою»*. Очевидно, «книжка» – это дань тому глубокому обычаю, по которому без «книжки» не дадут «магистерства», – никак не более. <...> Слова, слова, слова, кукольные комедии, юродство, кривляние и полное отсутствие мысли! Помню, что на мое заявление, что я думаю поступать по окончании Академии в Университет, Андрей (летом 97 года) проповедывал, что тут уже надо будет уезжать из России (разумеется – в качестве ненужного, даже вредного элемента). Нет, простите, о. Андрей и все философы в Вашем духе! Россия столь же моя, сколько Ваша; и да предоставьте мне, и всякому, внести свою лепту на ее преуспевание, как всякий из нас ее понимает. И если я полагаю, что ее преуспевание – в развитии мысли, то да предоставится мне послужить моим ближним в этом смысле; совершенно также, как поклонникам слов, слов, слов – предоставляется говорить, говорить, говорить, ибо они то делают с благами намерениями.

Дух веками создававшегося монастырского безделья подавляет меня. Чувствую себя вышибленным из моей милой научной колеи. Затхлая, пропитанная вековой пылью, идущая вот уже который век из кельи в келью, атмосфера прозябания, растительной жизни на лоне серой русской природы и серого русского армяка, атмосфера, которой дышали поколения за поколением, одурманивает, оглушает, душит: трудно становится слово сказать.

Исполненное достоинства, непоколебимое осуществление принципа: «будь, что будет, а делай, что надобно», принципа, где именно человеческое достоинство не унижается божеским величием, – составляет все содержание нравственной жизни. Я не знаю действительности, знаю лишь, что, что бы она ни была, она не заставит меня ничем отступить от моих обязанностей; я смело могу встретить этот удар в сердце, который рано или поздно нанесет мне «действительность»: что бы со мною ни было, я исполню, что надобно. Ясно отсюда, что высшая нравственность возможна безусловно при «религии науки», при настроении обороны и приспособления к неведомой и враждебной действительности.

Здесь, в монастыре, в полной безурядице артельной жизни, особенно чувствуется нужда и ценность дисциплины, рационального устройства общества. Здесь, при истори-

чески установившихся условиях, возможны лишь анархия или деспотизм, как, впрочем, и всюду в обществах с древнерусским духом.

30 ноября

Все это время мой ум – угнетен; какие тому причины, – может быть, решится впоследствии. Но следствием этого угнетения ума было то, что масса фактов, нахлынувшая на меня за это время, – необработанная, всей своей бесформенной, безумной силой подавила меня, и я лишился спасительного спокойствия. Итак, основная причина моего тяжелого состояния во мне самом – в угнетении ума: надо культивировать ум, чтобы внешняя сила не могла подавить тебя.

Мы привыкли думать, что физиология – это одна из специальных наук, нужных для врача и не нужных для «выработки миросозерцания». Но это столь же неверно, как и положение, что не дело врача, а дело специально священника или метафизика – вырабатывать миросозерцание. Теперь надо понять, что разделение «души» и «тела» – есть лишь исторические основания имеющий, психологический продукт; что дело «души» – выработка миросозерцания – не может обойтись без законов «тела», и что физиологию надлежит положить в руководящие основания при изучении законов жизни (в обширном смысле).

Мышление о действительности способом пределов есть движущее начало вообще душевной жизни. Если им руководится жидкий пиитизм мистически настроенных юношей и девушек, боящихся взглянуть реальности попросту в глаза, то он же дает идею ученому не обязываться «общим учением» общественной жизни, а замкнуться в кругу интересов мысли.

Дело, очевидно, в умении для данной действительности плодотворно выбрать предел. Тут нужно то, чем определяется математический талант.

После того как философский анализ показал, что нам надлежит иметь в виду не «истинный» предел действительности, но лишь наиболее плодотворный, стала ясна задача философского синтеза: выбрать и установить наиболее плодотворные пределы для действительности.

Проблема бытия Божия – проблема именно психологии религиозного сознания. Ведь тогда, когда Бог представляется нам грубосущественным, все равно теистическим или пантеистическим, как Его рисует древнеиудейская поэзия или эпос индусов, – вся теология отзывается для научного духа мифическим характером и внушает от этого ему предубеждения против себя. Но взгляните понаучнее, пополюе, попроще на то, что должны были разуметь под именем Бога пророки, что – Иисус Христос, вникните в психологический тон этого имени, какой оно имеет в Евангелии и у пророков, и вы поймете, вы почувствуете, что значит «Сын Божий», для вас найдется нечто понятное и в диалектике древних богословов.

Следствие. Психология, как частный случай биологической дисциплины и, тем более, как высшая, сравнительно с биологической, ступень опыта, сопряжена с новыми приращениями к той, что имеет место в физиологии; в следствии этого «психофизиология» возможна и необходима, как математическая часть физики; но физиология никоим образом не поглощает психологии. Равно и принцип неовиталистов «*Nemo physiologus sine psychologus*» может быть оправдан в том смысле, что и физиолог не должен забывать, что его теория содержит много возможного, однако психологически неосуществимого, как геометр должен знать, что многое, возможное в его теории, исключается физикою из рассмотрения; однако очевидно, психологические теории не дадут ровно ничего полезного для физиологических исследований, равно как физические теории отнюдь не помогут геометру в его работе.

Для человека его труд до тех пор является неосмысленным, пока он понимает, что и всякий другой на его месте может сделать то, что делает он. Лишь на том месте, где я пойму, что никто кроме меня не может так сделать то, что делаю я, – лишь на том месте я почту свой труд действительно исполненным интереса и смысла. Очевидно, человеческие индивидуальности – не геометрические точки и отнюдь не уравниваются наложением. Человек чувствует, что он – то, что более нет и чего более не будет.

1899

18 января

Наша монастырская жизнь создана широким русским размахом, не знающим времени, не имеющим границ ни для сна, ни для лени. И в основе всего этого лежит глубокое, непоколебимое самомнение, самая твердая и безнадежная уверенность в исключительной привлекательности своего времяпрепровождения...

Я любил и люблю правду. Но обстановка монастырской жизни отталкивает меня от себя, и я не нахожу сил расположиться к ней настолько, чтобы помогать ей торжествовать над глупостью и ложью. Обстановка делает убеждения неактивными; убеждения, не будучи осуществляемы, атрофируются; обстановка изглаживает наши убеждения. Надо не оставаться, а бежать из такой обстановки, которая лишает энергии наши убеждения...

Беззаботное безделье здесь – прежде всего; стремление к правде – лишь потом, как легкий нюанс всего направления душевной жизни монахов. Невольно чувствуется, что когда ходят, положив руки в карманы, не работают и презируют работу, – идут в настоящем направлении монастырской жизни: тут сила убеждения, веками созданного.

Уже самый первый мой шаг, первое вступление в монастырские стены был озаглавлен принципом: «ведь можно ничего не делать», работа – это дело слишком неважное, чтобы на нее обращать особое внимание...

Говорить с людьми – значит нарушать свое душевное равновесие. Пока оно не устойчиво, нарушение его должно быть очень ограничено. Постоянное обращение с людьми может в конце расшатать душевную жизнь...

Ошибаются те, кто думает, что я чего-то ищу. Я сыскал то, что мне было надо и теперь мне нужно лишь осуществлять то, что найдено. А когда принцип найден, и не достаёт лишь возможности его осуществлять – это положение Иова, которого тщетно отвлекать от мысли, что действительность горька.

15/16 мая. 1 ч. ночи

К чему весь этот мир в пространстве и времени, эти деревья с причудливыми разветвлениями и листьями, эти утро и вечер, эта людская жизнь, все это, так похожее на мимотекущий и непонятно причудливый сон? К такому настроению приходит человек, мало-помалу с течением жизни завертывающийся в самого себя... Стоит ли опять развертываться с тем, чтобы, захватив новый кусочек действительности, снова свернуться в ту же темную скорлупу для своих переживаний?..

Откуда берется, чем достаточно объясняется стремление человека подходить под обобщения? А существование этого стремления подметить не трудно у обычного человека. Посмотрите на людей, гуляющих на вокзале, или на людной улице, например, на Невском. Этот человек идет, вздрагивая с таким напряженно-непринужденным видом: очевидно – из желания подойти в глазах встречных под знакомый им класс людей, например, непринужденных от привычки быть в большом обществе. Этот офицер идет и смотрит так особенно браво и самоуверенно: очевидно – желая, чтобы окружающие сказали: а, это нам известный тип молодого военного, который «не даст себе наступить на ногу». А вот тот генерал – как прямо сидит он в коляске, как важно, и прямо, и беспредельно самоуверенно смотрит он

на то, что встречается на улице: очевидно, ему хочется, чтобы все те, кто на него смотрит, поняли, что он – известный им «строгий, но справедливый», имеющий силу и «вес» старик-военный, который «видал виды» и которому не известны некоторые чувства, свойственные, например, студенту, но которому зато известны другие, не свойственные, например, чиновнику. А этот молодой человек в сюртуке с синим воротником и фуражке прусского образца: он очевидно желает, чтобы не принимали за «молодца-студента». И наконец, нельзя же не заметить вообще у большинства гуляющих современных людей среднего умственного уровня – стремление казаться носящими признаки культурных модных воззрений и идей.

Я знаю одну семью. В ней отец семейства берет ложу в сто рублей потому, что так «прилично» положению миллионера – тайного советника, директора банка. Сын его имеет при родительской квартире особые комнаты, где он кутит с приглашаемыми для того товарищами, и на это даются ему особые средства, – все это потому, что так «прилично» студенту из богатого и аристократического круга. Две дочери – барышни занимаются разными добродетелями: изучают с англичанкой литературу западных национальностей, шьют с благодетельными целями фартучки и кофточки, а в известное время года – ходят в церковь; все это потому, что так «прилично» барышням богатого и аристократического семейства.

А то, – еще лучше, – я знаю барыню аристократического круга, пишущую что-то о Сафо потому, что литературные занятия, кроме того что совершенно безобидны, еще представляют в барыне – оригинальность, приличную для ее положения. Эти люди ухитрились устроить даже и оригинальность «приличной»: так, вообще говоря, дорого им подойти под обобщение, быть в глазах окружающих – типом.

25 мая

«Человечество» – отвлеченное и мое; «человек» – конкретное и действительное. Эта нравственная концепция заставляет меня непосредственно признать действительность других *людей* такую, как моя действительность. А отсюда преимущество идеи индивидуального человека пред бессмертием «человечества».

Я – человек опыта, эмпирик – в самом обширном значении, сильнейшего скептицизма и твердых оснований. Это и есть то, что воспитывается естествознанием. Но для этого не нужно идти в университет: «все это висит в воздухе». Это сказал мне И. П. Долбня в последнее наше свидание. Он согласился, что мне очень недостает устойчивости: «да, у вас мало устойчивости, вы мечтатель отчасти» и только промолчал на тот аргумент моего стремления в университет, – что я хочу закалить себя на практических занятиях естествознанием. Между прочим, И. П. высказал интересную мысль: «Государство падает и должно пасть. Социальная революция отсрочивается искусственно на экономической почве, теперь – колониальной политикой. Это ведь только колониальная политика сделала, что не видно социального кризиса Англии, которая должна была бы пасть три столетия назад. Политическая революция во Франции, как справедливо говорят, отсрочила социальную революцию, и именно тем, что три четверти французских крестьян наделила землею; французские крестьяне страшно дорожат землею, и потому – самые консервативные люди: в палату посылаются у них вовсе не социалисты, а люди, стоящие наиболее за сохранение порядка. Но государство все-таки должно пасть и оно падет, как только нечем будет кормить население: социальный кризис должен последовать за экономическим». Рассказывал И. П.-чу о письме преосв. Антония. «А-а! Так служить истине в рясе с панагией!.. Служить церкви, значит служить и государству; потому что церковь это самый покорный, самый трусливый, самый

низкопоклонный и самый подлый слуга государства». Очевидно, отсюда объясняется ненависть И. П-ча к «халдейству», как он называет метафизику Церкви.

Природа делает свое дело; вот Земля сделала свое обращение вокруг Солнца, мы снова переживаем лето. А людишки, как мало они достигли доброго за это время! Как плохо идет их общественная жизнь, как мало нового, обновленного! Все по-старому, все ветхо... Кто жрет хлеб, по справедливости принадлежащий теперь мне? Кто жрет хлеб, принадлежащий этому жалкому мужику, что, покачиваясь, бредет навстречу?..

16 июля

Вот наша проклятая русская жизнь; бьешься выбиться из нее, эмансипироваться от этой давящей традиции под золотыми главами луковиц в смазанных сапогах со скрипом, а она сулит тебе мирную «домостройщину» с игуменством над «домом своим». Только бежишь от непрощенных учителей, лезущих с постригальными ножищами, – следуя правилу: «камень вместо хлеба», как налетаешь на идиотские оржаные снопы, это вместо письменного-то стола!..

Всенощная, 5 гл <ас>. 17 июля

Как индивидуальный организм, полный жизни и здоровья, воспринимая множество различных элементов, лишь ассимилирует, перерабатывает их, все-таки торжествуя над ними, так и общественный организм до времени только растет под влиянием массы наплывающих элементов и лишь потом, в старости, начинает чувствовать их антагонизм. До времени великое нравственное существо христианства свободно и органически срослось с позднейшим гносисом, с хитрой диалектикой и догматикой восточных школ. Только потому в наше время начинает ощущаться разнородность этих начал и случайность их связи.

Я испытываю великое удовлетворение, переживая идеи и чувства, поставленные руководящими святыми отцами. Но я не могу оправдать их именно в качестве руководящих – философски. Между тем, дело может войти в колею, в инерцию, я могу войти в рутину, – это дальнейшее продолжение уже начатого здания, – лишь твердо укрепив основание, укрепить же его и избежать скороспелой инерции и неосмысленной рутины, – я думаю, – удобнее, продолжая учиться. Вот почему для меня привлекателен университет.

И, во всяком случае, поступив в университет, я только осуществлю данную возможность (средства) – *провести эти четыре года более плодотворно*, чем то было бы при учительстве в семинарии или другой средней школе.

6 августа

До сих пор в целом мирозерцании я был в традиции исторической – с одной стороны, Кантовой философии – с другой. Они давали мне задачи, они вдохновляли меня. Если есть у меня прогресс за этот год, то он выразился в продолжении моего освобождения из-под зависимости той и другой, начатого в кандидатском сочинении.

8 августа

Беловатые облака на горизонте синего неба над серо-зеленоватой громадой волнующейся морской воды, спокойное, сосредоточенное движение во мраке пространств – мировых шаров, столь же спокойное и сосредоточенное, преданное своему делу и божественно-постоянное отражение лучей света от частиц атмосферы в этих пространствах, темный и давно застывший в своей постоянной жизни бор и одиноко стоящее на береговой скале облако, – холодная простота этих картин искони и всегда имеет особенную прелесть в глазах человека. В ней находит он успокоение после житейской суеты, она предносится его душе в минуты тихого научного созерцания, и от нее отправляясь, он учится просто и ясно смотреть на жизнь.

9 августа

Христианство, религия не говорят, что теперь Бог «явен» в мире. Потому-то так духу и противны «доказательства бытия Божия». Теперь Бог не явен, не очевиден в мире, но есть лишь *уходящий все вперед идеал тех*, кто «не от мира сего». О том, что Бог станет «явен» в мире, христианские мыслители лишь говорили, как о грядущем и называли то «страшным днем Божиим», которого страшится человечество и вся земля.

10 августа

Современному сознанию ничего не говорит противоположение неба земле: мы не видим, не усматриваем, почему бы преимущественное место жизни Божией на небе, а не на земле. Но не трудно понять, что для древних противоположение неба – земле было аналогично противоположению духа – телу: мы ведь теперь только научились понимать небо, как землю, – как тело; тогда же тело была земля, а воздух, в своей видимой противоположности ее инертности, был достаточной картиной духа, «который дышит, где хочет»...

Идеалом человеческой действительности выставляется покой. Для более сложных явлений приходится брать «*покой системы*», расширяя систему далеко за границей понятия «неделимого». Этот идеал покоя системы в идее равновесия и сохранения энергии. Но каким образом применить этот идеал для истолкования этических понятий? Основное этическое понятие «обязанности», в противоположности юридическому понятию «права», предполагает игнорирование идеала личного довольства и покоя пред лицом того, что «надобно» и требуется. Ведь существенный интерес этики не в том, как можно хорошо схематизировать этические понятия под тем или иным идеалом, но в том, почему то или другое нужно и требуется: это насущный вопрос, с которым мы входим в этику как науку. Не искусственно ли поэтому будет строить на идеале покоя тот образ понятий, по которому «починается ущербом покой» и указывается спешить делать что-либо такое, что имеет быть потребовано от нас» (преп. Нил Синайский. Добротолюбие. II, 280).

Если для схематизации этических понятий, для «*системы этики*» расширяют идеал *покоя неделимого* в идеале покоя системы, предполагая понятие системы далеко более широким понятием неделимого, то рискуют впасть в простое *petitio principii*: как наглядный идеал покоя неделимо может расширяться в таинственном идеале покоя системы: семьи, государства, церкви и т. п.? Это и есть главный вопрос этики. Для этики достаточно *им кончить*,

но не начинать с него. Между тем, именно в такое *petitio principii* впадает наука, начиная системы этики с единственной аксиомы – аксиомы эгоизма.

27 августа

О «естественном» и «сверхъестественном». Отрицательно к жизни настроенные люди видят «естественное» в том, что зло и худо в мире; все остальное – исключение из общих правил, немирящихся с «естественным» ходом вещей, «сверхъестественное». Так думали исступленные ригористы, средневековые аскеты, женоненавистники, монахи, разбивавшие древние сокровища Александрии и т. п. Так же точно, лишь в более последовательной и законченной форме, думает о «естественном» и «сверхъестественном» Шопенгауэр. Эгоизм, по нему, нечто само по себе ясное, «естественное»; напротив, любовь, сострадание, сочувствие – нечто непостижимое в мире, «сверхъестественное». Владимир Соловьев утверждает, напротив, что любовь и единение в мире сами по себе понятны, начиная с любви матери к ребенку – частице собственного существа; а это ненависть, злоба и эгоизм именно таинственны, непонятны, не «естественны».

Так же мыслили истинные аскеты, подвижники, и мысль Соловьева принадлежит, несомненно, миросозерцанию древних отцов. «Естественное», сообразное существу обыденной действительности – это наше состояние в раю и по искуплении. «Неестественное» и извращенное – состояние греха и эгоизма. Здесь возможно свободное от нетерпимости и ригоризма, ясное, светлое и здоровое миросозерцание, побуждающее не отрицать, а развивать существующие определения жизни, способности и силы, единственное миросозерцание здоровых умов всех времен, служащее настоящим фундаментом науки и культуры вообще.

3 сентября

Повсюду в религиозной деятельности диких народов заметно стремление приобрести *власть над судьбой*, так что тут два рода духов: те, которые должны быть закляты (злые духи) и те, которыми эти первые заклиняются (благодетельные духи). Возможно развитие в ту и другую сторону, и это стоит исследовать. Кажется несомненным, что в христианстве мы имеем ведь развитие идей второго рода: превосмогает и «больше всех» Бог любви, всемирное Добро. Вера в то, что Добро превосмогает, дает человеку власть над Судьбой, так что наконец Судьба и Добро совпадают в его мысли («Судьба Пушкина» у Вл. Соловьева).

Первобытный человек думает, что получает власть над своим собратом, имея в руках его одежду, остатки пищи, отбросы, зубы, волосы, зная, наконец, его имя. Это переносилось потом и на покойников. Так значительна казалась связь человека с тем, что с ним имело такую или иную связь. Следовательно, – так широка оказалась «личность» его. В высшей степени интересно различить и подчеркнуть в нашем современном мышлении элементы такого расширения личности: во всяком случае, до сих пор есть вера в тесную связь «личности» с ее именем. Но в своем конкретном значении не есть ли бессмертие личности – в сущности бессмертие имени в наших глазах?

Религия – лишь лишний инвентарь, приправа, оригинальная мебель в обиходе «интеллигентной» толпы; она столь же мало активна, столь же мало имеет влияний на ход жизни, на понятия и стремления людей. Это «почетный член» в их душевном «совете». Было бы, разумеется, разумнее вынести из комнаты эту лишнюю мебель, чем лицемерно показывать вид, что она действительно нужна и вас занимает.

6 сентября

Откуда общепринятое теперь различие *in genere* «знания» (науки) и «веры» (религии)? Оно, очевидно, – случайного (исторического) происхождения, не заключается в самих понятиях: ведь всякое знание – психологически есть «верование» (Джэкс, Пейо и т. п.), а «верование» в истории всегда было высшим откровением, чистым знанием действительности. Лишь историческими особенностями интеллектуального прогресса человечества объясняется это явление, что часть интеллектуального запаса человека, отставая и отрываясь от живого и идущего вперед русла понятий и «верований», становится сначала «высшим знанием», в противоположность общедоступному, вседневному, опытному знанию, затем – «верой» и «религией» («священным преданием») в противоположность «знанию» – в специальном смысле. (Это «сначала» и «затем» в своем историческом противопоставлении – схоластика и Вольф, с одной стороны, Кант – с другой).

12 сентября, утро

Ницше обобщил основы этики, дал принципы и основания, из которых частным случаем является наша этика. Потому-то, разумеется, сам он не подлежит уже критике и оценке с точки зрения этого частного случая – нашей этики. «Скорей вопрос в том, может ли устоять „мораль“ пред ним и его нападением, – устоять во всем, что она сама утверждает, как всеобщее и исходящее из разума» (А. Риль).

Первым моментом этого вопроса является следующий: можно ли нашу этику рассматривать в качестве частного случая тех биологических и исторических начал, которые выставляются Ницше?

Масса борющихся идеалов, притом по существу *равноценных и равноправных*, – вот содержание души, как я понимаю ее после моего кандидатского сочинения. Идеал всеобщего равенства должен быть противовесом идеала аристократизма (*a' la* Ницше), чтобы была полнота жизни... Изучить и переоценить все эти идеалы – как бы оценивались математические «пределы» и как бы их выбирал гений математика – вот дело науки в жизни с этой точки зрения.

16 сентября

Можно сказать, что религия противопоставлена знанию, поскольку *ее интерес – не покой системы, а сама действительность, в ее девственной простоте и жизненности*. Наука идет своим идеалом и работою в одну сторону; религия, желая не коллекций, а жизни, – в противоположную.

Мир, научно истолкованный и истолковываемый (ибо он «научно истолкован» лишь поскольку «научно истолковывается», следовательно – в идеале) – нечто мертвое; это прекрасно поняли энергетисты в науке, теоретики знания в философии, указывая, что наука лишь поспевает сзади со своими истолкованиями за жизнью, которая все уходит вперед. Мир наиболее мертв – у механистов, у Декарта. Для психического равновесия идеалу научного знания противопоставляется идеал *жизни*, жизненного переживания действительности. Ибо научное знание само по себе возбуждает «жизнеразность», роковым образом не достигая своего идеала.

Шопенгауэр – «философ задумчивой юности», – превосходное определение Рилья.

В прошлом году я писал о подавляющей, пропитанной ленью, монастырской традиции. В нынешнем – я в столкновении с другой, более сильной и древней, более страшной и могущественной, более глубокой и подавляющей, – традицией бессмысленного, темного, мертво-инертного, беззаботно-физиологического, «светского» перевода времени. *Надо спасать личность там и тут, спасать ее на том месте, где ты находишься*, – вот одно правило, почерпаемое из этого «из огня в полымя». И это настоящее применение принципа: «будь, что будет, а делай, что надобно».

В христианском духе – таинственный источник альтруистического, тихого и твердого настроения, *die Halle* альтруизма, как говорится по-немецки. И уже в этом он выделяется для нас на общем мертвом фоне современных «отвлеченных начал».

Прав или неправ Ницше в своих воззрениях на трагедию, но он наводит на мысли. Пользуясь его различием, я могу сказать, что признаю и ищу *драматизированного эпоса* (Шекспир – глава его), отрицаю же и бегаю от *мифической греческой трагедии*, будто бы рожденной музыкою из нее самой. Риль указывает, что Ницше сам отступает впоследствии от своего превозношения последней, подчеркивая значение диалога, его ясности и определенности, – следовательно, именно «драматизированного эпоса».

Истинная, ясная цель искусства (трагедии – главным образом) в том, чтобы воссоздать в воспоминании предметы так, *как бы мы ими грезили с ясным сознанием, но не на самом деле их видели и переживали* (Риль); т. е. – в том, чтобы на примерах научить относиться к фактам жизни с «ясным сознанием». В этом смысле Риль понимает превосходное выражение Шиллера (в письме к Гёте): «Поэзия, как таковая, делает все настоящее прошедшим и отдаляет все близкое чрез идеальность». Ясно отступление современного «искусства» от своего настоящего дела, когда оно имеет целью лишь «возбуждение» наслаждения, следовательно, лишь более искусственные, наркотизированные *переживания действительности*. В этом же смысле его оценивает Л. Н. Толстой.

Ницше начал с эстетической метафизики, затем перешел в приверженцы «единого данного существования, которое у метафизиков называется „представлением“» (Риль), т. е. в приверженцы Гераклитовского духа бытия, становления и движения. Я начал с религиозной метафизики и, с кандидатским, перешел также в сущности к духу Гераклитовского мышления, к энергетике в широком смысле слова. Второй период Ницше – это мой теперешний период. С Корпуса, под влиянием Долбни, я привык думать, что «цель культуры достижима чрез великий интеллект... что жизнь есть дело и средство к познанию, – жизнь есть эксперимент познающего» (Риль). Это дух Декарта. Аналогия мне является очевидной.

Ницше вовсе не «проницательный», кабинетный, ученый ум. Он, например, не заметил (во второй период своего развития), что выставя творцом моральных ценностей не отдельное сознание, а «коллективный индивидуум» – общество, государство, он или впадает в *petitio principii* и, значит, не объясняет ничего, или силе неделимого противопоставляет силу общества и, таким образом, не подрывает, а проповедует царство «инстинкта насилия». Ницше сам весь под инстинктами, весь под властью «идей-сил», весь в эмоциях. Вчера – он был романтический мечтатель морали самозабвения; сегодня – он проповедник морали разума. Умственное прозрение становится на место «образа действия по моральным чувствованиям» (Риль). Ницше в высшей степени полезен, как талантливый, сильный вырази-

тель носящихся в воздухе, бродящих эмоций и идей; но он предоставляет читателю еще крупную задачу – передумывать, систематизировать, связать все это.

Отсюда ясна возможность вреда и пользы от чтения Ницше.

24 сентября

Этика самозабвения – или романтическая болтовня, или грустная аномалия. Настоящая этика, конечно, считает главной целью воспитание и самовоспитание добрых инстинктов в человеке (досознательных качеств души). Но раз развившись, перешедши в поле сознания, они должны быть ясными и живыми идеями, органически сросшимися с Я. Значит, в здоровой нравственной деятельности интерес к Я вполне ясен, и лишь там мы действуем нравственно хорошо, где действуем хорошо для себя. Отсюда очевидна доля истины у Святогорца, когда он говорит в одном месте, что надо спасать сначала себя, а потом других.

Ницше – один из тех людей, у которых надо учиться святому презрению к окружающим взглядам и мнениям. Впрочем, Кант тут во всяком случае симпатичнее Ницше, – расшибал молча и в тиши взгляды этих «окружающих», не бранясь, не позируя, и так, что те имеют возможность, не раздражаясь, оставаться при своих насиженных взглядах.

29 сентября

Мой опыт, моя жизнь сзади меня. Более мне не надо, достаточно его с меня. Теперь и до конца – время его передумывания, *философии. Передумывание, философия прошлого опыта жизни* – вот главное определение моей деятельности: моего поступления на естественный факультет – прежде всего. Забывая это, погружаясь в новое переживание, я отступаю от своей задачи, оставляю свое дело, покидаю «путь истины».

Относительно близких, друзей моих прежде всего, – мое дело *сочувствие, любовь и развитие воли* – всегда им помочь. Но мои отношения к ним отнюдь не должны включать в себя хотя бы тень личного экстенсивного искания или побуждения.

Вот вкратце вся моя этика, все мое определение.

Мне хочется врезаться в самую глубину этих мест, где люди считают себя *думающими теперь по преимуществу*. Сам я имею над чем подумать. Прошлый опыт жизни, когда я его живо вспоминаю, приводит меня в содрогание силой вопросов, которые им во мне возбуждены. В этом-то пережитом, в громадной силе этого пережитого, в чем, конечно, первое место занимает для меня *тетя*, ее конец, – кроется то, что достаточно сильно, чтобы всегда сохранить мой дух на страже, всегда возобновить, поддержать во мне свободный дух философа, не преклоняющийся пред средой, где он живет.

Два пути, две сокровищницы мысли известны мне и современному мне человечеству, в которых оно может черпать ответ на вопросы жизни: первый, завещанный мне воспоминанием и лучшим временем юности, – путь христианской и святоотеческой философии; второй – в науке, который есть метод по преимуществу. Почему, откуда это роковое разделение путей, имеющих одну цель впереди себя? Не составляют ли эти два пути по существу одно? – вот вопрос, всю полезную важность которого я пойму, вероятно, лишь когда буду ближе к его решению, но которым занимаюсь прежде всего.

1 октября

Метод богословской науки, какой я предлагаю (историко-психологический), рассматривает религию, как нечто, имеющее *случайные* (историко-психологические) основания. Но это не может служить ему *упреком* после того, как наукою понято, что самое различие «случайного» и «необходимого» имеет лишь историко-психологическое значение.

Искание и радость беспечального опыта – вот черта, особенно характерная для научного духа. И в ней-то коренная разница духа, лежащего в основе науки, с духом пессимистической философии, философии подавляющего опыта.

11 октября

Что такое «жизненная опытность»? *Дурища, много выдавшая и ничего не понявшая...*

У Карамзина рассыпано много хороших философских мыслей (разговор с Кантом, со студентом о бессмертии по дороге в Лейпциг, о театре), притом не в трудном для тогдашнего русского общества систематическом изложении, а в форме легких заметок, легко усваивающихся и оставляющих впечатление, наряду с интересными путевыми описаниями. Если для большинства Карамзин являлся в «Переписке» таким пропагандистом, внушителем идей, то для образованного меньшинства, знакомого тогда уже и увлекающегося Вольтером и Руссо, – он был первым из земляков, на своем родном языке и в такой увлекательной форме повторивший призыв от «природы» к «свободе» этих писателей. Открыли ли «Письма» глаза современникам на действительность жизни тогдашней Европы, действительную картину этой жизни? Во всей вероятности – нет, как не открывается она и нам. Центр тяжести все время во внутреннем душевном мире путешественника, многое во вне остается им незамеченным (например, французская революция), и если оставить в стороне его описательные элементы, мы читаем у Карамзина лишь его *мысли и идеи*, возбужденные в нем теми или другими местами. В «Письмах» образованные и в теории знакомые более или менее с Европой современники Карамзина могли видеть, что пережил один из них, лучший из них, и что пережили бы они сами на его месте. А это должно было значительно сблизить их с тем миром, откуда вышли известные им Руссо, Вольтер, Гёте, Шекспир, Геллерт, Кант и др.

Материализм в радикальной форме со своим отрицанием нравственной ответственности личности, со стремлением к идеальной социальной статике и т. п. ведь тоже лишь идеал, и, как идеал, привлекателен для мысли. Он не выпадает, и должен, следовательно, совпасть с основным идеалом всякой жизни.

Абсолютную истину и тропу к ней я знаю в науке; но слышны голоса, что лучше не сидеть за трудно достижимым научным журавлем, а с практической синицею – условно истинного (т. е. такого, которого мы не можем научно оправдать) в руках, обратиться к общественной деятельности (в узком смысле). Но для ученого, для служителя безусловной истины лучше дойти до полного самоотрицания на своем поприще, чем изменить своему знамени и *пойти учить, притворяясь, что все известно*.

Когда физиология трактует о жизни, о характерных признаках жизни, как *об обмене веществ* <...> то ее выводы отсюда нисколько не трогают вопроса о жизни – непо-

средственного сознания и философии. Жизнь, интересующая непосредственное сознание и философию, – жизнь человека остается здесь вне сферы зрения, мысль попадает мимо нее, и то, что в гробу продолжает быть характерным с биологической точки зрения признаком дорогого мне человека – белковина, которой нет в соседней земле; равно, – что в нем продолжается «жизнь» в этих «низших организмах» – червях, без сомнения, ничего не говорит мне о жизни дорогого мне человека. Определение жизни, – *которое надо черпать из опыта, если мы хотим войти в существо, в положение возбуждаемых ею вопросов*, – определение жизни основывается на ценности ее, но ценности этого понятия для обозначения действительности.

«Природа» есть *не представление, а понятие*, – вот вывод моего сочинения, и надо уметь воспользоваться всеми следствиями этого. Первое формальное практическое следствие отсюда то, что понятием «природа» и пользоваться надо, как понятием.

28 октября

«Отрицать» и «утверждать»... Кому это нужно?... Не наше дело утверждать и отрицать, что что-то есть или чего-то нет; наше дело маленькое: *ясность и простота последовательной мысли.*

Надо иметь великое, детское спокойствие, девственное спокойствие духа, чтобы так переживать Природу, как Лев Николаевич Толстой. Читая его несравненные страницы, вспоминаешь о далеко минувшем, когда и ты жил так близко с природой, с травой, с лесом, с водой, и грустно становится, что волнения жизни так отдалили тебя от этого родства с великой матерью. Но я думаю, что такое спокойствие духа, открывающее спокойствие и мир жизни природы, совершенно необходимо философу.

В чем задача этической жизни? В чем задача научного духа в области нравственности? Ведь очевидно то, что хорошо, и то, что дурно, дано, – как факт, – до всякой науки, и дело науки, без сомнения, не в том, чтобы показать, правда ли, что хорошо то, что мы считаем таким, или оно в сущности дурно. Дело науки тут, как везде, – *в описании.*

Истина, – а это понятие прежде всего нравственного порядка, – открывающаяся человеку *до* всякой науки и, зачастую, не внушаемая и многими годами научной работы, – *в кротости.* Мы знаем по опыту, что эта простая истина вполне ясна и «в руках» для мальчика-подростка и для мужика, и совершенно закрыта для студента и «интеллигента».

Я теперь вспоминаю, заглядывая уже как в другой мир – в мир стремлений *быть постоянно лучше*, стремления «спасти душу», – чем я жил десять-восемь лет тому назад. Так-то и современное общество заглядывает в эпоху преподобных подвижников, как в другой мир, завлекательный своею тишиной и могуществом, но непонятный, забытый в корне – в современном положении вещей. Теперь на вопрос совести: «Для чего жизнь?» – само существо современного порядка вещей говорит: «Жизнь для жизни...» И эта-то монотонная, скучная, тягостная и бессмысленная в глубочайшем своем смысле – «проволочка», «разгулка» времени, «жизнь для жизни» слепо и всесторонне охватила нас. Проклятие ей, этой мерзкой «жизни для жизни»!

Дураки думают, что они становятся лучше под действием какого-то таинственного демиурга – «Прогресса», впрочем, палец о палец не ударяя, не вынимая сигары лишней раз изо рта, – чтобы стать лучше. И они смотрят как на «старое и отжившее» препровождение времени – на «подвиги» людей, понимавших, что чтобы стать лучше, надо становиться

лучше. Но как назвать вашу жизнь с вашими слепыми размышлениями, с вашими проводочками времени в кровати, в театре – везде, где только можно, с вашими бифштексами и цыплятами, кокотками, любовницами, оголениями и картами, – если не нравственно мертвым, нравственно тупым, нравственно атрофированным прозябанием, почением на подножном корму?.. Нет же, не обманывайтесь, – вы не становитесь нравственно лучше с вашего разгульного времени, со временем вы, напротив, замираете более и более и кончина вам смерть... Вы ближе к кладбищу, чем кто-нибудь, чем когда-нибудь, чем могильщики в чумной год...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.